

Молодой моя мама была тоненькой и гибкой, как...
— Тростиночка ты моя вечнозеленая! — носил мой отец маму на руках, и не только в праздники. И мама отца, а мне бабушка, не зная, как красив весной тростник, в зарослях которого летом можно и затеряться, потому что никогда не бывала на Сахалине, ворчала:

— Позеленеешь тут, когда не едят, а клюют!

— От голода пухнут, Мария Семеновна! — смеялась мама. Маме нравилось быть тростиночкой. — И знали бы вы, какие я на острове салаты из побегов тростника устраивала, — пальчики оближешь!

— Правда-правда, баба Маня, — оближешь! — подтверждал я, совсем не завидуя маме на руках отца, потому что меня он носил на плечах — и выше, и дальше видно.

— Да уж, наша еда, вижу, тростника вашенского жиже. Не до пальцев, чтоб лизать, — скорее из-за стола бежать! — уже сердилась бабушка за обедом, но не на меня, а на маму, когда она, похлебав борща, только пробовала картошку, поджаренную на сале, или отварную, а на селедку к ней и не смотрела — на острове только красную рыбой признавали. Да и чайная чашечка у нее была своя — с наперсток, а не пол-литровая кружка, как у бабы Мани. По воскресеньям — тогда единственный выходной в неделю — и в праздничные дни, когда отец, если не дежурил в своей больнице, был дома, она маму за столом не корила.

— Да сыта я уже, Мария Семеновна, спасибо, — поднималась из-за стола мама, обижаясь, конечно, на свекровку, но про себя, а не ответным словом. Она всегда мало ела. «Война меня мало есть приучила», — много позже призналась мне мама. Лишь однажды, не забылось, вырвалось у нее протестующее:

— Мы уже год, как в Омск вернулись, а вы все Сахалином попрекаете — «вашенский остров»! А я ведь тоже омская, как Вася ваш и мой. Забыли, Мария Семеновна?

И баба Маня впервые, кажется, сникла, почувствовав, наверное, себя виноватой перед мамой. Но все же выговорила ей вслед — будто извиняясь правда:

— Разве раздобреешь, когда за столом не потеешь?

Самое удивительное, что моя бабушка, большая любительница плотно даже перекусить, а особенно почаевничать с ватрушками да шаньгами, собственноручно в печной духовке зарумяненными, и ростом, и телом была очень схожа с мамой — разве что жилистее. «Не в коня, Колюшка, видно, корм», — смутилась она, когда я однажды после обеда, побежав на улицу, вернулся с порога за чем-то забытым и застал ее перед трюмо в горнице, себя разглядывающей.

Но дело было, конечно, не в «корме». Баба Маня была великой труженицей, но с мальства наособицу, как трудились и жили все в прииртышской станице Усть-Заостровской, пока не рассказали, а в городе — «за мужем», как она выражалась. Почему ни колхозного, никакого иного официального трудового стажа у нее не было, а значит, и пенсии государство не выдавало, как и пособия за трех не вернувшихся с войны сыновей и их отца, — не полагалось вспомоществование за пропавших без вести. Выручал огород, дарами с которого, начиная с самой ранней в Омске зелени и заканчивая последними в городе цветами, она торговала на Слободском рынке, поднимаясь к нему, едва рассветало, по ветхой деревянной лестнице на Подгорной улице с полными корзинами, а уже в сумерках сходя вниз с пустыми. Теперь на месте рынка автостанция с заправкой, а в речной пойме, именуемой с ее заселения Луговой слободой, ничего, кажется, не изменилось. И улочки, карабкающиеся к Подгорной от берега Оми, все с теми же названиями — Малая Луговая, Большая, Депутатская; и дома и домишки, связанные разномастными заборами, вплоть до плетней, по-прежнему с печным отоплением; и вода, как и раньше, — ведрами в руках или на коромысле от колонок. Даже нужники на огородных задворках, летом почти неприметные за фруктовыми деревьями, а зимой вызывающе торчащие из снега, такие же, как и в запредельно давнюю пору моего детства. Шаткую лестницу из березовых плах, правда, сменила сваренная намертво из железа...

Заработанного на рынке хватало до зимы, а зимой приработок был почти нищий, но зато стабильный. Бабушка очищала по утрам и вечерам от снега огромный двор начальной школы через дорогу от своего дома, ставшего и нашим, когда моего отца, после окончания Омского военно-медицинского училища шесть лет прослужившего на Сахалине, прогнали из армии по «хрущевской демобилизации».

— Служащая! — гордилась баба Маня этой своей сезонной дворницей должностью. — Как солдат почти! Разницы-то — солдат крови не боится, а я — снега...

И накаркала, как потом часто говорила о несчастье, случившемся с ней темной ранью в школьном дворе. Сбивала лед с дорожки от колонки на улице к порогу школы, а лом соскоблзнул и в валенок угодил. Хорошо, не плоским концом, — тогда бы кости переломало, — острым: всего лишь мягкую плоть ступни инструмент пробил. А школа-то, поскольку рано, не только пуста, но и на замок заперта — по телефону скорую не вызвать. Да и грешно людей тревожить, решила бабушка, оклемавшись от первой боли, когда дом родной, вон, рядом, а в доме свой медик, и какой — старший лейтенант медицинской службы, пускай и в запасе!

Но мой отец, как и его мать, был скор на подъем и заботы: уже на свою гражданскую медслужбу ушел, когда баба Маня почти вползла из сеней на кухню. И валенок на правой ее ноге, как сейчас помню, не белый, как на левой, а черный, как декабрьское утро за окном. «И тяжелый, когда сняла, как утюги тогдашние чугунные, — кровью полон был», — не забывала и мама до последних своих дней беды, случившейся со свекровкой. Потому что с беды этой и переменялась к ней баба Маня — умеренностью в еде перестала попрекать и ревниво пенять за что попало, когда отец носил маму на руках, называя ее вечнозеленой тростиночкой. Да и мама сменила чайную чашечку на граненый стакан в подстаканнике...

Мама никогда не была солдатом, но крови не боялась. Потому что она была женой медика. Старшего лейтенанта медслужбы в армии, а на гражданке — фельдшера, почти врача. И бабушка не осталась без ноги, слышал я не раз от нее самой после возвращения из больницы, потому что мама оказала ей очень квалифицированную первичную медицинскую помощь. «Так мне в больнице сказали», — всегда добавляла она.

А еще мама не боялась крови потому, что в войну после занятий и в школьные каникулы она добровольно ухаживала за ранеными в госпитале, как переименовали больницу, в которой ее мама и до войны работала санитаркой, а в войну уже служила, исполняя прежние обязанности, в звании ефрейтора. После Победы это звание с нее сняли, а будущая моя мама, сдав экзамены за семилетку, решила учиться дальше на «среднего медика». Но в медучилище ее не приняли из-за слабого свидетельства об окончании обязательной школы.

«Сплошные тройки!» — расстраивалась мама и взрослой, никогда не оправдывая посредственную успеваемость лишениями военного времени, работой в ущерб учебе в госпитале, где не только убирала из-под раненых и мыла в палатах полы, но и утешала и развлекала увечных солдат и командиров чтением стихов и песнями, писала за них, кто не мог сам, под диктовку письма родным и близким. А еще начальник госпиталя, подглядев как-то, какой у нее красивый почерк, обязал заполнять извещения на умерших — похоронки. И она, заливаясь слезами, вписывала в промежутки между типографски отпечатанными казенными словами на серых бланках адреса получателей, имена и фамилии тех, кого уже никогда не дождутся, а к шаблонной фразе «скончался в Омском эвакуационном госпитале № 1494» добавляла от себя, но как бы и официально: «от геройских ранений, полученных на фронте». И в первый раз, когда она заполнила бланки не по форме, ее вызвал к себе начальник госпиталя.

— Это что за отсебятина?! — ткнул он пальцем в лежавшие перед ним на столе похоронки.

— Так лучше, — отвечала девочка.

— Кому лучше? — не удовлетворил начальника ответ.

— Всем, — сказала девочка.

— И Артемьеву с его родней, который не от ранений — от заворота кишок, обьевшись присланным из дома! — скончался, им тоже лучше? — взорвался начальник.

— И им. У Артемьева осколок в сердечной мышце остался, он все одно бы погиб...

— В сердечной мышце, говоришь... — стихнул начальник госпиталя. — Хорошо, проверю. — И вдруг посмотрел на нее так, точно впервые увидел: — А ты, собственно, кто, пигалица?

— Зинаида...

— А у нас что делаешь, Зинаида?

— Я сандружинница в школе, а у вас маме помогаю...

— А мама ваша кто, сандружинница?

— Санитарка.

— Что, у вашей мамы-санитарки имени и фамилии нет?

— Филатова Евгения Леонтьевна.

— Вот даже как — Леонтьевна! — удивился начальник госпиталя. — А я и не знал, что у меня и тезка по отчеству служит. Совсем замотался! — И махнул рукой, как муху отгоняя: — Можешь быть свободной. Иди, девочка...

А на другой день девочку поставили в госпитале на продуктовое довольствие — как вольнонаемную. Но она продолжала бы, как и прежде, работать и без пайка, потому что в госпиталь ее привело не только желание помочь маме и сострадание к раненым. Отец девочки, как известили в казенной бумаге, тоже лежал в госпитале после тяжелого ранения, но далеко-далеко от Сибири, почти рядом с продолжавшейся войной, потому что его нельзя было транспортировать в тыл. И пусть покалеченного, потерявшего память, но выхаживали и его, и она просто обязана отдаривать добром за добро, приближая выздоровление и возвращение отца. «Как

аукнется, так и откликнется», — твердила девочка, как молитву, любимое присловье отца, не отказываясь в госпитале ни от какой работы...

Прифронтовой госпиталь, где лечили от ранений отца мамы, фашисты разбомбили...

— А еще всех, кто служил или не служил, помогая за так, как я до назначения пайка, в нашем госпитале кормили, — рассказывала мама. — Кашами, хлебом — такие вот два кусочка, — показывала она мизинец, — чаем. И раненые, особенно лежачие, баловали — кто сухарем, кто галетой американской, сколом с головки сахара... А в праздники компот давали. Я кашу съедала, кусочек хлеба кушала с чаем, а другой, как и подношения, и фрукты из компота, для Толи оставляла, — говорила о брате, который в ту пору едва в школу пошел. — А мама и кашу свою ему приносила... Знаешь, какой здоровый вырос!

— Знаю, — кивал я.

— Нет, на фотографии это не очень видно, а вот увидишь не на снимке своего дядю — не поверишь, что такие здоровые бывают!

Но я поверил, когда увидел. Баба Женя, правда, возвращения нашей семьи с Сахалина не дождалась... А дяде Толе — Анатолию Даниловичу Филатову — в прошлом году исполнилось восемьдесят лет. На юбилейном застолье он сказала о моем отце: «Василий мне был как брат. Старший, конечно...» И о сестре сказал: «Не Зина, и не знаю, сидел бы я сейчас за этим столом... А еще твоя мама, Николай, крови не боялась...»

И каждый раз, оказавшись в центре Омска и проходя мимо когда-то эвакосортировочного госпиталя № 1494, я не вспоминаю — вижу, мне кажется, маму за его стенами. Только она еще девочка и не знает, что станет моей мамой. Правда, теперь здесь не эвакуационный сортировочный, а Омский областной госпиталь для ветеранов войн с Центром по оказанию высококвалифицированной медицинской и гериатрической помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

А вы знаете, что это такое — гериатрия? Но ни моя мама, ни мой отец, называвший маму вечнозеленой тростиночкой, не то что до преклонных лет — и до половины, как у Данте, земной жизни не дошли. И я сейчас старше и мамы, и отца, даже если сложить вместе прожитые ими годы. А будь они живы, я обоих носил бы на руках, как носил маму отец не только в «красные дни календаря» — и в будни. И не только потому, что в гериатрической госпитализации им бы отказали — не фронтовики, не поспели на войну по возрасту...